

# ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ

Новелла

*«Дерево молодое прекрасные видело годы.  
Но засохшее дерево рубят всегда садоводы...»*

Низами

Давно скатилось за горизонт солнце, а по узким улочкам маленького городка все еще перекачиваются тугие волны дневного жара. Духота... Одолеть ее помогает лишь хрупкая пиала с прохладным кумысом или глоток зеленого чая.

На длинной супе, застеленной домотканым ковром, сидят аксакалы и слушают кюй – национальную мелодию и протяжную песню. Она доносится из степи и теплотой своей растапливает сердца стариков, делая такими же чувствительными, как и в далекой юности.

Кто поет? Неважно. Главное – певец любит народную песню и выводит ее с виртуозностью смычка. А он, смычок, кажется, рассказывает о чьей-то нелегкой судьбе.

Ближе, ближе протяжная песня... Вот она добирается до старых чинар, до городской площади, эхом кружит над раскрытыми окнами, набирая высоту, взлетает к звездам.

С печником – дядей Ахмедом, маленьким кривоногим человеком с живыми глазками под воспаленными веками с редкими ресницами – мы сидели в чайхане и наслаждались прохладой. Входили и выходили люди, почтительно здоровались с дядей Ахмедом, приглашая его кто на той, кто на бешбармак, а кто просто поговорить.

– Ждем тебя, почтеннейший, приходи...

– Ладно, – кивал в ответ дядя Ахмед и самодовольно скашивал глаза в мою сторону: видал, мол?

Чайханчик – молодой казах с блестящими, как угольки-антрациты, глазами, – проворно сновал под навесом.

– Этому джайрану не терпится выпроводить нас восвояси, – раздраженно кивает в его сторону дядя Ахмед. – Дергается, на свидание, поди, надо.

Молчу, очарованный красотой.

– Вот ты стишки пишешь, – не унимается дядя Ахмед, – а почему не напишешь о стариках? Больше уж интересно почитать...

Невидимый певец все тянет и тянет свою тяжелую мелодию.

– Молодым все понятно. Раз, два, пять... Нам – нет, почему?

Из-за старого минарета осторожно выплыла безмерно вздутая луна. Кто-то безликий протянул высоко в небе зажженный фонарь и плавно понес его над городком, высвечивая холодным светом гребни старых дувалов, плоские крыши заснувших домов, верхушки деревьев и скромную вывеску «Аптека».

– Что, напишешь? – Повторил, прощаясь, свою просьбу дядя Ахмед. – Попробуй, а?

В ту встречу я не догадался, откуда у дяди Ахмеда интерес к судьбе стариков, но после одного случая многое стало ясно.

Мы с ним часто встречались в чайхане и он занимал меня рассказами о том, о сем. То вспомнит, как в детстве жеребец наступил ему на ногу, а в отместку он отхватил ножом ему хвост, опозорив тем самым хозяина. То расскажет, как женился и как в один и тот же день и час родила жена и отелилась корова, а он бегал из дома в сарай и не соображал: чему ему больше радоваться?

Рассказывал дядя Ахмед вдохновенно, подперчивая фразы анекдотами и шутками.

Однажды, излив очередной свой запас житейской мудрости, он надолго замолчал, перекатывая языком щепотку табака-насвая. Потом задумчиво спросил:

– А ты в большом городе всех врачей знаешь?

Я ответил, что многих, но, пожалуй, не всех.

– Про Гульчару Мамедову слышал?

– Что-то не припомню.

– Моя дочь! – гордо объяснил дядя Ахмед. – Она гели-колог. Ежели занедужишь, прямо к ней. Раз, два, и будь здоров!

– Спасибо, дядя Ахмед, – ответил я ему, – но по этой части никогда не заболею. А при случае найду дочь вашу.

– Вот... вот... при случае, – оживился печник. – Гульчара будет рада! Я вот и сам, наверное, уеду к ней. А что? Надоело дымоходы лепить. Буду в пижаме... кофья попивать.

Навязчивой этой идеей дядя Ахмед заболел основательно.

– Уеду, – говорил при встрече шорнику Мустафе. – Дочка зовет...

– Эй, Исмаилджан, – кричал он соседскому мальчику-бутузу через свой дувал. – Что тебе из большого города прислать? Уеду ведь я!

Наши встречи проходили все реже и реже. Дядя Ахмед бегал по райсобесу, хлопотал давно уже положенную пенсию, искал покупателей для своей неказистой халупы, гонялся за должниками, коих у него было великое множество.

И вот однажды он совсем исчез. Сел на попутку и ни с кем не попрощался.

Вначале маленький городок не заметил этой утраты, а через день заскучал по старому балагуру. На базарной площади, в чайхане и даже в аптеке, куда жители городка ходили столь же часто, как и в свою районную баню, только и слышалось:

– Печник Ахмед уехал... к дочке... в Большой город!

– Это к какой... была ли у бобыля дочь-то?

– Не была ли, а есть! Доктор она. Как уехала в институт, так и не возвращалась. Замуж за инспектора вышла...

– Говорят, писем – и тех не писала отцу... А он без покойной Фатымы пятнадцать лет ее пестовал...

– Говорят... Мало ли, что люди напридумывают... От зависти все...

– Бывает такое... Люди – они, известно...

Как вспыхнули эти разговоры, так и утихли. Не прошло и недели – маленький городок стал забывать про печника. Разве только иногда хозяйки, пекущие пироги, вспоминали его добрыми словами, да карапуз Исмаилка ждал все еще подарков из Большого города.

На седьмой день, выглянув из-за забора-дувала, он первый обнаружил дядю Ахмеда, расколачивавшего забитую дверь.

– Здравствуй, Исмаилджан! Обманул тебя старый шакал... Но ничего, брат. В Большом городе, известно, игрушки толковой не найти. Там за гарлинтурами погоня... Нашего духа не терпят... Я тебе таких свистулек наделаю, по-о-мрешь...

– Ты что, дядя Ахмед, насовсем к нам? А мамка сказала: тебя пенсионером назначили?

– Насовсем, Исмаилджан. Мне, брат, пижи-ам не надо! И кофья ихнего я в гробу видел. Так-то... Тьфу...

Маленький городок вначале даже не заметил, что появился печник, будто он и не уезжал. Потом кто-то из аксакалов вдруг обнаружил его в чайхане возле себя... Тут-то загомонили, заплетничали в сотню голосов.

Кто-то сообщил, что дядя Ахмед реже стал ходить в дом к шорнику Мустафе, хотя у него родился сын и он каждого потчевал молодым барашком. Кто-то ранним утром увидел, как печник молча завалил густо-зеленую чинару в своем полисаднике, ту, к которой он год за годом после рождения дочери приносил ведерочком водичку.

Я несколько раз пытался заговорить с дядей Ахмедом, но из этого ничего не выходило. Часто пустовало и его место в чайхане, над которой каждый вечер золоченным бубном повишает круглоликая луна и высоко взлетает знакомая степная песня. Слушал я ее теперь один...

## СТЕПНАЯ СТРАДАЛИЦА

Быль

Село Яруллино расположено у крутых отрогов Урала, в обезлюдившей древней степи, которая раскинулась за огородами до самого горизонта: очертив под маревом неясную оранжевую полоску, поднимается в летний день к самому небу, унося на невидимых крыльях тоскующую песню жаворонка и дух утопанного ковыля.

Я приезжаю сюда, когда простуженные легкие начинают работать с усиливающимся шумом, сдавливают и напрягают усталую от городского ритма грудь. Марфуга-апа – даль-

няя родственница – отпавляет меня кумысом и заунывным голосом расспрашивает о буднях многочисленной нашей родни, о здоровье дедушек, бабушек, о городских новостях и новых знакомых. Я отвечаю ей обстоятельно, с превеликим почтением, ибо очередной мой курс лечения зависит от ее вспыльчивого гостеприимства.

Апа одобрительно кивает седой головой, повязанной белым шерстяным платком, беспрестанно шепчет свое: «Аллахэ акбар, Слава Богу...». За окном, у которого мы сидим, на цыпочках бродит трепетная башкирская ночь, где-то в степи покрякивает ветер, слышатся лай собак.

После четырехчасового застолья Марфуга-апа успокаивается, утирая платком тонкие старческие губы, повторяя молитвы, укладывается на полатах, чтобы назавтра снова приняться за хозяйство.

Я еще долго сижу у окна, вслушиваясь в горячее дыхание спящего села...

Жители Яруллино, братья мои по крови, живут в этой степи испокон веков. У них колхоз-миллионер, пастбища, многотысячные стада, молочная ферма и долгая, теперь уже счастливая, считают они, жизнь.

В их биографии есть яркие страницы, отмеченные удачей и подвигом, есть и такие, что темным пеплом покрыли бархатное поле памяти. Но как жизнь и смерть – единые измерения для всех живущих на матери-земле, так и война – единая веха для яруллинцев. Смерчем пронеслась она по ту сторону Каменного пояса, разрушая города, селения, станики и колыбели. И если алчный огонь не коснулся крутлобых изб яруллинцев, то многопудовый камень народного горя опустился на их худые, как заезженные седла, плечи всей своей тяжестью.

Тридцать молодых парней, тридцать удалцов-джигитов проводило село в первые дни войны. Тридцать похоронок, тридцать черных писем-треуголок, проклятых всеми матерями земли, принес на свою беду Шаймурат-мархум – покойный яруллинский почтальон, весельчак и почтенный аксакал.

Почти сорок лет прошло, а в Яруллино люди помнят ту печальную и непонятную историю. В устах Марфуги-апы звучит она тускло, приблизительно, но степь – стремительная и неумирающая, познавшая лихие набеги хунну и ордынцев, благородную тяжесть стального плуга, степь, дарующая жизнь и смерть, – рассказала мне больше, чем моя старая родственница, больше, чем то, что еще не потерялось в людской памяти.

...В ту победную весну степь от счастья одевалась в шелковые ленты трав, пьяная теплом, бросала к солнцу безумный гам птичьих хоров, бурлила, искрилась, освобожденно вздыхала, сбрасывая в овраги последние талые воды, а вместе с ними и последние слезы обессиливших непомерными тяжестями людей.

Степь уже несла на себе ветра, поющие о близкой победе, уже прощала поредевшим табунам их разгульную шалость. Но и она не знала еще о страшной трагедии, случившейся на ее груди в то теплое, парное утро. Лишь после того, как она не дождалась себе обычного приветствия Шаймурата: «Да будет мир твоим теплым травам! Пусть солнце светит сердцу твоему!», степь поняла, что случилось что-то непонятное, непоправимое, жестокое.

...Его нашли мертвым на дощатом мосточке, что и сейчас горбится над тщедушной речушкой Аксу. Он лежал без почтальной сумки, важно и сосредоточенно сдвинув седые брови, задрал к буйному небу редкую бородежку, а его старая, как он сам, войлочная шляпа одиноко валялась в стороне.

Черные от переживаний военных лет яруллинцы молча постояли вокруг старика и по законам шариата захоронили его в тот же день. Но уже через два дня приехавший из районного центра следователь прокуратуры приказал двум милиционерам вырыть труп Шаймурата: в районе обратили внимание на исчезнувшую сумку и решили, что ангел смерти Исраил пришел за душой почтальона не по собственному намерению, а привела его к «верному мусульманину» чья-то жестокая и коварная рука.

В холодном заброшенном клубе, двери и полы которого яруллинцы в военные зимы порубили на дрова, следователь осмотрел труп почтальона и, к удивлению сонных милиционеров, обнаружил на увядшей шее следы насилия. Это известие эхом прокатилось по всем дворам, взбудоражило усталые сердца яруллинцев. Шаймурат не умер... Шаймурата убили!..

Дружно жили яруллинцы в лихие годы. Нужду и радость делили поровну. И не было на селе ни одного человека, ни одной семьи, не схваченной за горло войной. Поэтому так трудно было поверить, что в их среде есть убийца, бесщедный, дикий, как огненный смерч, пожирающий в засуху и без того худые хлеба. Трудно было смотреть им друг другу в глаза, каждый искал теперь в глазах других улику, чтобы разоблачить и обвинить. Обвинить и отомстить.

Старики, посоветовавшись, пришли прямо к хромоногую Закиру, некогда славившемуся буйством характера, незаурядным мастерством уводить из соседних деревень горячих жеребцов. В то время Закир был примерным семьянином и заведующим гужевым хозяйством.

– Если Аллаху понадобилось найти среди нас человека бесчестного и низкопробного, как голодный шакал в пустыне, то им оказался только ты, Закир, зачем ты убил почтенного Шаймурата?

Хромой Закир кинулся пред народом на колени, моля о прощении за прежние грехи, рыдая, стал доказывать свою невиновность. Плюхнулась рядом беременная жена Закира, заорали смертно малые дети. Старики, напуганные такой неумностью, бросились прочь от дома хромого Заира.

Районный следователь пригрозил наказать стариков за своеволие, а сам все же допросил хромого Закира, его жену и, не найдя против них улик, отпустил восвояси. Этот образованный, уважаемый во всем районе человек долго ломал себе голову, выясняя обстоятельства и мотивы преступления, но, так ничего и не отыскав, вынужден был, быть может, впервые в своей практике, так скоро прекратить дело. Уезжал он из Яруллино растерянным, чувствуя незримый облик жестокого рока, свалившегося на бедную голову старого почтальона.

Так и оборвалась бы эта печальная история, если бы еще не одно обстоятельство, явившееся на свет в одно и то же с убийством время.

Степь знала, что, как и сердца всех матерей земли, сердца яруллинских матерей отчаянно билась от черного дыхания похоронок, от одного короткого, как сам выстрел сло-

ва «убит», и только потому не разрывались на части, что им предстояло еще из пламени своего родить новые жизни.

Выдержало сердце и у яруллинки Зайнап, соседки моей дальней родственницы Марфуги-апы, получившей раз за разом три похоронки – на мужа и двух сыновей. Но помутился разум тетушки Зайнап. Изменила русло светлая река ее жизни, потеряла природную связь с океаном людских судеб.

Каждый раз, когда степь, утробно вздыхая, сбрасывала с себя дремотную кисею утра, тетушка Зайнап выходила в потертом бешмете, с узелком в руках за село, брела по едва пробившемуся травам к горизонту с надеждой отыскать там убивицу-войну, предъявить ей свой материнский иск. Степь обнимала ее своей ширью, пенилась перед ней радужным цветом весны, и сама, вся трепетная, живая, старалась пробудить в потухших глазах женщины тот же трепет жизни.

Однако глаза тетушки Зайнап, стылые, неживые, отчужденно смотрели мимо цветочных кружев, ее усталые ноги, ведомые природным инстинктом, шли неизвестно какими путями-дорожками.

Лишь к вечеру колхозный бригадир Султанбек, до изнеможения загнав единственную оставшуюся на тот год в колхозе ездовую клячу, находил ее в потемневшей степи. Спешившись, ласково обняв тетушку за плечи, приводил в село. Народ сочувственно называл тетушку «Сахри-кайнальщик» – Степной страдальцей.

Спустя два или три дня после смерти Шаймурата – Султанбек не нашел тетушку Зайнап. Как обычно, он изъездил все ближайшие увалы, осмотрел все овраги и останцы древних скал, надорвал горло в отчаянных криках, но возвратился в село ни с чем.

Наутро яруллинцы собрались на поиски всем селом. Подростки и женщины, разделившись на пары, пошли в степь. Семь дней и ночей тщетно раздавались в степи крики. Семь дней и ночей никто из яруллинцев не сомкнул глаз. И готовились уже было люди прочесть молитвы за упокой души Степной страдальцы, как тетушку Зайнап нашли.

Поутру две колхозницы собрались на тока перебирать прошлогоднюю полову, чтобы приготовить из нее похлебку для пахарей. Дойдя до токов, они услышали за старыми щитами стон и какое-то бормотание. Это была тетушка... Исхудавшее лицо ее почернело еще больше, глаза метались, как два отчаявшихся зверька, старый облезлый бешмет был разорван в клочья.

Но не оттого остолбенели женщины. Ужас их охватил, когда они увидели на шее у тетушки Зайнап амулет из серых треугольников. Нанизанные на красную ленту, письма шелестели на легком ветру, и от этого шелеста веяло смертью...

Добрая моя степь – мать и кормилица! Велика и всеильна ты всегда. В твоём торжественном молчании я слышу голос истории моего народа. Слышу радостное блеяние только что народившегося в твоих травах ягненка, скорбный стон человека, полоненного горем. Сквозь темную заводь времени открываешь ты мне извечные истины жизни... Добрые, как время, и жестокие, как война... Зачем открываешь? Пожалей сердце мое...